

Научная статья

УДК 821. 161. 1-09

DOI 10.17223/18137083/77/9

Женские образы и визуализация травмы в блокадном тексте Ольги Берггольц

Наталья Аркадьевна Прозорова

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
Санкт-Петербург, Россия
arhivistka@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3828-4080>

Аннотация

Исследуется роль женских образов в репрезентации травмы в блокадном нарративе О. Ф. Берггольц. В статье показано, как от реалистических образов ленинградских женщин в лирике и поэмах военного времени автор переходит к «экзистенциально дискомфортному письму» и визуализации блокадной травмы, наиболее репрезентативно проработанной поэтессой в категории телесности, традиционно табуированной в литературе советского периода. В отрывке «Баня» к незавершенной второй части «Дневных звезд» банное пространство выступает у Берггольц местом фиксации блокадной травмы, а женское тело приобретает исключительную выразительность и становится тем знаком, который раскрывает новые смыслы в художественном тексте. Ленинградки-блокадницы, рассмотренные в русле исследований trauma studies, определяют автором статьи как «сообщество утраты» женской идентичности.

Ключевые слова

блокада Ленинграда, блокадный нарратив, О. Ф. Берггольц, женские образы, телесность, блокадная повседневность, визуализация травмы

Для цитирования

Прозорова Н. А. Женские образы и визуализация травмы в блокадном тексте Ольги Берггольц // Сибирский филологический журнал. 2021. № 4. С. 110–123. DOI 10.17223/18137083/77/9

Female images and trauma visualization in the blockade text of Olga Bergholz

Natalya A. Prozorova

Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom)
of the Russian Academy of Science
St. Petersburg, Russian Federation
arhivistka@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3828-4080>

Abstract

This work investigates the role of female images in the representation of trauma in the blockade narrative by O. F. Bergholz. Her poetic texts for propaganda posters “Okna TASS” and

© Прозорова Н. А., 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 4. С. 110–123
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 4, pp. 110–123

the poem “Conversation with a neighbor” portray realistic images of women. The poem “The February Diary” conveys the blockade trauma through the aesthetics of silence, filled with existential semantics. In “Leningrad Poem,” the poet emphasizes the loss of sacred traditions: the disconsolate mother cannot bury her child. In “Leningrad Autumn,” Bergholz reproduces real everyday life and religious-mystical being: the figure of a woman holding a board with nails visualizes a graphic symbol – a cross, manifesting the burden of people’s ordeal. In the novel “Day Stars,” the chapter “Smoke Break,” the author depicts the emotional and moral threshold crossed by two Leningrad women, sitting on a sled with a coffin and having a smoke break. In the passage “Banya” from the unfinished second part of “Day stars,” Bergholz breaks through to the “existentially uncomfortable writing” and visualizes the blockade trauma in the category of physicality traditionally tabooed in the literature of the Soviet period. The naked female body becomes exceptionally expressive and serves as a sign to reveal new meanings in the literary text. Skinny bodies being the norm, the appearance of a buxom beauty in the bathhouse caused anger: the blockade women identified her as an enemy. The author of the paper defines Leningrad women, considered in the framework of trauma studies, as a “community of loss” of female identity.

Keywords

siege of Leningrad, blockade narrative, O. F. Bergholz, female images, corporeality, blockade everyday life, visualization of trauma

For citation

Prozorova N. A. Female images and trauma visualization in the blockade text of Olga Bergholz. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 4, pp. 110–123. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/77/9

Если утверждение «у войны не женское лицо» не вызывает сомнений по существу (война – мужское занятие), то относительно блокады Ленинграда оно не «работает». Известно, что в военное время «происходила своего рода территориальная поляризация населения в зависимости от пола: мужчины трудоспособного возраста оказались в основном на фронтах, а женщины абсолютно доминировали в тыловых районах, осваивая традиционно мужские сферы деятельности» [Черепенина, 2006, с. 235]. Гендерная структура заблокированного Ленинграда, рассмотренная по сохранившимся в архивах сведениям, дает следующую картину: на 1 000 мужчин в 1942 г. приходилось 2 908 женщин, в 1943 г. – 3 320, а в 1944 – 3 442 [Там же]. Таким образом, основную часть населения осажденного города составляли женщины (дети и старики в большей части были эвакуированы), а оставшиеся в осаде мужчины истощались и умирали раньше представительниц слабого пола.

Не случайно поэтому сначала в военной лирике и в документальной кинохронике, а затем и в сознании соотечественников закрепился стойкий визуальный *женский* облик блокадницы – закутанной в тряпье женщины неопределенного возраста, которая тащит по занесенной снегом улице детские санки с завернутым в одеяло ленинградцем или покойником. В знаменитой поэме «Февральский дневник» (1942) Ольги Берггольц дана именно такая картина блокадной повседневности.

Вот женщина везет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице...
<...>
А девушка с лицом заиндевевшим,
упрямо стиснув почерневший рот,

завернутое в одеяло тело
на Охтинское кладбище везет
[Берггольц, 2014, с. 164].

К этим образам, появившимся в блокадном нарративе Берггольц в «смертное время» – зимой 1941–1942 гг., мы вернемся позднее, а сейчас дадим краткий обзор репрезентации женщины-блокадницы в произведениях музы блокадного Ленинграда с начала войны.

В августе 1941 г. Берггольц стала сочинять стихотворные тексты к агитплакатам ленинградских «Окон ТАСС». На плакатах художников В. С. Слыщенко и Н. Н. Игнатьева был создан образ тети Даши – немолодой, пышнотелой и энергичной женщины, которая агитировала соседей по квартире сдавать золотые украшения и сбережения в оборонный фонд страны, дежурила на чердаках, сбрасывала с крыш зажигательные бомбы. Графический образ был реален, близок зрителю и убедителен (см.: [Ленинградские «Окна ТАСС»..., 2015, с. 19–20, 24–25]). При этом визуальный портрет и написанные к нему стихотворные тексты Берггольц не имели жесткой привязки к месту действия – Ленинграду: тетя Даша персонифицировала скорее обобщенный тип советской женщины, и лишь затем – ленинградку, но не блокадницу (блокада тогда еще не была объявлена). Позднее, в стихотворении «Разговор с соседкой», написанном 5 декабря 1941 г., Берггольц преобразовала тетю Дашу в соседку по *ленинградской* квартире – Дарью Власьевну, с которой лирическая героиня вела разговор о тяготах осадного бытия. Этот образ был весьма актуален. Историк блокады С. В. Яров отмечал, что блокадный быт особенно повлиял на отношения с соседями, объединяя и тех, кто «до войны жил обособленно даже в коммунальной квартире» [2013, с. 366]. «Чаще всего стали встречаться на кухне, у печки, из-за холода могли сидеть здесь часами. <...> Узнавали новости, выясняли, кто погиб, а кто уцелел, где и что можно купить или обменять» [Там же]. В блокадной повседневности дружеская беседа и взаимная поддержка были важны. Стихотворение Берггольц и начиналось с приглашения к разговору: «Дарья Власьевна, соседка по квартире, / сядем, побеседуем вдвоем» [Берггольц, 2014, с. 156]. Рядовой блокаднице, одной из многих ленинградских женщин, поэтесса обещала запечатлеть ее «простой облик» для потомков такой, какой она была: смелой (как на августовском плакате), но уже исхудавшей (шел четвертый месяц блокады), «в наскоро повязанном платке» [Там же, с. 157].

В написанной в феврале 1942 г. поэме «Февральский дневник» представлена еще одна ленинградская женщина, но в другой ипостаси – это подруга-вдова. Ее внешность лишена определенности и телесности, визуальный портрет отсутствует. Образ подруги автобиографичен (поэма написана после гибели от истощения Н. С. Молчанова, второго мужа Берггольц), и женщина, пришедшая к лирической героине, ничем не отличается от нее самой: у них *одно* вдовье горе, *один* хлеб и *один* платок на двоих.

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова,
я тоже – ленинградская вдова
[Там же, с. 163].

У вдов нет ни слез («слезы вымерзли у ленинградцев» [Берггольц, 2014, с. 164]), ни слов. Последнее чрезвычайно важно. Автор акцентирует переход от речи подруги к молчанию как к некоему событию, которое наиболее адекватно передает состояние женщин в сложившейся ситуации: боль невыразима.

Как мы в ту ночь молчали, как молчали...
[Там же, с. 165].

Травма вдов репрезентируется в молчании, наполненном экзистенциальной семантикой. Как отмечает М. Н. Виролайнен, «...пафос молчания – пафос несказанного, невыразимого, того, что не передается словом» [2003, с. 441]. При этом общий духовный опыт позволяет женщинам продолжить внесловесное общение: их разговор, по выражению исследователя антропологии молчания, «по-новому продолжается в молчании», и таким образом возникает «ситуация, при которой “слово ничего не говорит”, а “молчание говорит всё”» [Эпштейн, 2015, с. 247, 250]. Значимость возникшего безмолвия подчеркнута тем, что оно распространяется на *весь* Ленинград.

Мы съели хлеб,
что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном...
[Берггольц, 2014, с. 163].

Включение молчания вдов в драматическую ленинградскую тишину можно интерпретировать как траурный церемониал и «минуту молчания», которая длится до утра и объединяет всех, кто потерял своих близких в блокаду.

В «Ленинградской поэме» (1942) Берггольц рисует еще один скупой портрет ленинградки: здесь несчастная мать не может похоронить дочь, умершую десять дней назад. Она умоляет соседку уступить ей кусочек хлеба (продать его, выменять или подарить), чтобы устроить гробик для ребенка. Женщина не плачет («слезы вымерзли») и не жалуется, хотя горе глубоко и неизбежно. Но теперь к горечи потери прибавляется еще одна травма: нарушен ритуал похорон, и мать не может исполнить последний прощальный долг. С нарушением похоронной традиции во время блокады столкнулись тысячи горожан: истощение и массовая гибель ленинградцев привела к тому, что отвозить покойников на кладбище у родственников не было сил, гробов катастрофически не хватало, да и доскам находилось другое применение. «На первых порах старались хоронить в гробах, – писал С. Яров, – но вскоре это стало большой редкостью. <...> К просьбам дать гроб стали подходить сугубо прагматично...» [2013, с. 339–340]. Блокадная этика регламентировала новую норму поведения: забота была нужна живым, и ради их спасения разрешалось пренебречь похоронным ритуалом. Именно так поступает лирическая героиня в «Ленинградской поэме»:

И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило – привести
ее к себе, шепнув угрюмо:
«На, съешь кусочек, съешь... прости!
Мне для живых не жаль – не думай
[Берггольц, 2014, с. 172].

Предполагаем, что прототипической ситуацией, послужившей созданию данной сцены в «Ленинградской поэме», стала описанная в дневнике Берггольц 20 декабря 1941 г. встреча ее мужа, Н. С. Молчанова, с реальной матерью-блокадницей, пытающейся добыть гроб для погребения дочери. Женщина умоляла Молчанова обменять несколько пачек папирос на хлеб, но он, почти решившись помочь, подумал, что гроб ребенку необязателен, и «не отдал хлеба» [Берггольц, 2015а, с. 102–103]. Так, оказавшись в нечеловеческих условиях, горожане вынуждены были отходить от освященной веками традиции. Эту «смену вех», или, по словам Берггольц, «какие-то новые людские отношения» [Там же, с. 248], поэсса и обозначила в первых строках «Ленинградской поэмы», впервые опубликованной в «Ленинградской правде» 24–25 июля 1942 г. В образе рядовой ленинградки она актуализировала двойную травму: смерть близкого человека – дочери, и невозможность предать ее земле по общепринятому похоронному обряду. Последнее обстоятельство в контексте блокадной этики можно рассматривать как ступень к ослаблению родственных связей и «повреждению нравов» вообще ¹.

Осенью 1942 г. Берггольц пришла к осмыслению блокадного бытия через библейские символы. Новый женский образ появился сначала в дневниковом тексте. В творческом сознании поэссы возникло «видение» сумеречного Международного (с 1956 г. – Московского) проспекта, по которому бредут женщины «с водянисто-голубыми» лицами и несут доски и бревна с торчащими из них ржавыми гвоздями. Автор видит в них «куски огромного общерусского распятия» и понимает, что пишет эту сцену «для себя, т. к. печатать это не будут» [Там же, с. 281]. Между тем рефлексия продолжается, и далее Берггольц воспроизводит похожую панорамную картину в стихотворении «Ленинградская осень» (1942, октябрь), где дает два плана бытия: реальный и религиозно-мистический. На первом плане – хмурые ленинградцы ждут на остановке трамвая, они запаслись досками, листьями корнеплодов (всё пригодится!), но, не дождавшись транспорта, отправляются домой пешком под дождем. На втором плане высвечивается стоящая среди горожан фигура женщины, которая как бы «прикреплена» к доске с гвоздями.

Вот женщина стоит с доской в объятьях;
угрюмо сомкнуты ее уста,
доска в гвоздях – как будто часть распятия,
большой обломок русского креста
[Берггольц, 2014, с. 184].

Графический и религиозный символ – крест – манифестировал тяжесть и длительность предстоящего испытания, выпавшего на долю народа. Берггольц не случайно беспокоилась о том, что обнародование стихотворения вызовет трудности ²; впервые оно было опубликовано лишь в ее сборнике «Ленинградский дневник» (1944).

Блокадная тема, сквозная для творчества Берггольц, пронизывает и автобиографическую повесть «Дневные звезды». В отличие от рассмотренных выше об-

¹ Особенно трудно было блокадникам объяснить эвакуированным родственникам, почему близкий им человек был похоронен в братской могиле. Так, сама Берггольц отчаянно пыталась найти слова, чтобы сообщить семье Молчанова, почему их сын и брат похоронен без «деревянного ящика» [Берггольц, 2015б, с. 16].

² О том, как «холуи из радиокомитета» боялись пропустить «Ленинградскую осень» в эфир, см.: [Берггольц, 2015а, с. 290]; в дневнике Берггольц стихотворение называется «Осень в Ленинграде» или «Осень».

разов ленинградок в произведениях, написанных непосредственно в режиме блокадного времени, в «Дневных звездах» женщины-блокадницы даны в модусе посттравматического высказывания. Повесть была написана в годы «оттепели», опубликована в 1959 г. [Берггольц, 1959], и оптика изображения блокадниц в повести поменялась.

Так, если, будучи внутри блокадной повседневности, Берггольц как бы «фотографировала», фиксировала уличные картины, где участницами события были женщины (обратим внимание на указательную частицу *вот*: «Вот женщина стоит с доской в объятьях...», «Вот женщина везет куда-то мужа...»), то в «Дневных звездах» ее интересовало *собственное* отношение к этим картинам. Проекция делалась на несанкционированные (неконтролируемые) эмоции, которые она испытывала *тогда* – в блокадные дни.

При этом в повести практически повторяется тот же экспозиционный план, что и в «Февральском дневнике». Сцены, в которых женщина везет «куда-то мужа» на санках и девушка тащит покойника на Охтинское кладбище, напрямую коррелируют с персонажами из «Дневных звезд» (глава «Поход за Невскую заставу»). Здесь лирическая героиня сталкивается с женщинами на пути за Невскую заставу, когда идет к отцу, чтобы сообщить ему о смерти мужа.

Сначала она видит женщину, которая везет на саночках мужчину: «Он был привязан к санкам полотенцем, но сидел и был явно еще живой. Я вяло подумала: куда же она его везет? Потому что уже начинались амбары...» [Берггольц, 2014, с. 448]. Отношение к увиденному выражено в ключевом слове – *вяло* («вяло подумала»), акцент сделан не на атрибуте блокадной повседневности (саночках), а на собственной апатичности, оцепенении чувств. В следующей встрече еще в большей степени высвечивается блокадное опрошение. Героиня сталкивается на узком перекрестке с женщиной, которая тащит на санках гроб-ящик, похожий на комод. Санки застревают, и блокадницам не разойтись. Замотанная во множество платков женщина зло говорит: «Да ну, шагай!», и Берггольц, перешагнув через гроб, падает назад «и невольно» садится «на ящик» [Там же, с. 450]. Реакция женщины показательна: «Она вздохнула и села рядом» [Там же]. Затем, сидя на гробе-комоде, они ведут немногословную беседу о том, что в городе «мрут», что враг «обстреливает», и выкуривают одну папироску («гвоздик») на двоих. После чего совместными усилиями перетаскивают санки с гробом через бугорок, кивают друг другу и расходятся.

Такова ситуация, аномальная для довоенного времени (устроить перекур, сидя на гробе) и вполне обыденная для блокады. При этом нарисованная в повести картина была бы недопустима для публичной репрезентации в военное и осадное время. Так, например, читателю «Февральского дневника» (1942) требовались моральная поддержка, сострадание, уверенность в том, что его непреклонность будет по достоинству оценена, и поэтому рассказ о девушке, везущей умершего на кладбище, закономерно кончался патетическим призывом –

Скинь шапку, гражданин!
Провозят ленинградца,
погибшего на боевом посту
[Там же, с. 164],

да и вся поэма была наполнена предвосхищением бесспорной победы над врагом.

Теперь же, в «Дневных звездах», Берггольц воспроизвела «кошунственный» эпизод и резюмировала: «Встреча с женщиной, тащившей комодный ящик-гроб,

и перекур с нею ничего не шевельнули во мне тогда» [Берггольц, 2014, с. 450]. Так, при сравнении жанрово близких картин высвечиваются новые коннотации: поэтесса сфокусировала внимание на полном «оледенении» чувств и переступании некоего эмоционально-нравственного порога.

Репрезентация блокадной травмы в «Дневных звездах» для самой Берггольц не казалась до конца исчерпанной. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что, размышляя о дистрофическом состоянии и поведении измученных голодом людей, отмечая их (дистрофиков) «тихость» и покорность, поэтесса говорила: «Правда, были такие, что зверели, но о них как-нибудь *потом...* (курсив мой. – Н. П.)» [Там же, с. 449]. Это важное заявление, хотя и сделанное как бы между прочим. Поэтесса собиралась написать о том, о чем нельзя было забыть, но в то же время не хотелось или неприято было вспоминать, однако сделать этот шаг *тогда* она была не готова³. Предполагаем, что в цитируемом пассаже скрыт намек на разгул животных инстинктов – каннибализм, память о котором «вытеснялась» автором как на уровне самоцензуры, так и на уровне цензуры и редакторской практики советского времени⁴.

Продолжение осмысления «победоносной ленинградской трагедии» (так называла блокаду поэтесса), а также сталинского террора, во время которого сама Берггольц была арестована по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности⁵, планировалась ею во второй, так и не написанной части «Дневных звезд». Лишь один отрывок – «Баня» – был напечатан при жизни автора под названием «Дневные звезды (Главы из 2-й книги)» в журнале «Простор» в 1964 г. [Берггольц, 1964], а позднее, в трехтомном собрании сочинений, републикован под заголовком «Баня (Отрывок из незавершенной второй книги “Дневных звезд”» [Берггольц, 1990, с. 370–374]⁶. Именно в этом отрывке травма войны и блокады была проработана в женских образах так рельефно, как ни в каком другом художественном тексте ленинградской музы.

Итак, действие происходит в бане. Напомним, что зимой 1941–1942 гг. почти все бани были закрыты (не хватало топлива, не было света, вода не подавалась), горожане не мылись по два-три месяца, а те, кому это удавалось, попадали в баню по специальным талонам или «за хлеб»⁷. Женщины, по словам Берггольц, забыли, как «вести себя» в бане.

Первое, на что обращает внимание поэтесса (она является участницей и свидетельницей банных процедур), – тишина и болезненная вежливость в таком бытовом и обычном месте. «Было тихо, – писала Берггольц. – И глаза у женщин были тихие <...> Они тихо передвигались по бане – усталость чувствовалась во всех их движениях. <...> Какая-то особая вежливость царила в бане: никто не лаялся, уступали друг другу место, делились мылом, – и было в этой вежливости нечто болезненное и опять же усталое. Так, примерно, вежливы люди друг с другом при панихиде» [Берггольц, 2014, с. 493]. Психическое и физическое состояние женщин передано в сцене не вербальным способом общения, а языком тела, репер-

³ См. о ленинградской теме у Берггольц и «тестировании» ею допустимых границ в передаче блокадного опыта [Добренко, 2017].

⁴ Подробнее о проблемах «вытеснения» в советской литературе проявлений животного начала в человеке см.: [Куклин, 2005].

⁵ Подробнее см.: [Берггольц, 2010, с. 343–358].

⁶ В настоящей работе текст «Бани» цитируется по: [Берггольц, 2014, с. 493–498].

⁷ Подробнее см.: [Яров, 2018, с. 201–204].

туаром поз, медлительностью передвижений, похожих «на движения в немом кино» [Берггольц, 2014, с. 493].

От слухового впечатления Берггольц переходит к зрительному и от увиденного испытывает шок. Баня, как известно, представляет собой специфическое коммуникативное пространство, в котором установлено негласное правило: никто не смотрит на тебя, и ты ни на кого не смотришь. Однако в *блокадной* бане Берггольц нарушает это правило: она не просто смотрит, а, по сути, разглядывает обнаженных женщин и рисует весьма неприглядную картину.

Из дневников, воспоминаний и рассказов блокадников нам известно, что, посмотрев на себя раздетых, многие ленинградцы начинали в бане плакать. Была потрясена и Берггольц. Она увидела: «Темные, обтянутые шершавой кожей тела женщин – нет, даже не женщин – на женщин они походить перестали – груди у них исчезли, животы ввалились, багровые и синие пятна цинги поползли по коже» [Там же, с. 494]. Действительно, человеческие тела от истощения меняли свои пропорции, на коже появились нарывы, на губах – язвы, у женщин образовывались «хвосты» (так называли выступающие на скелетах копчики). «У некоторых же животы были безобразно вспучены – над тонкими ножками, – продолжала Берггольц, – ножки без икр, где самая толстая часть – щиколотка» [Там же]. Блокадные женщины были худы, потеряли «всю женскую сущность», тела их были деформированы и казались «иссиня-бледными тенями».

Зрительное впечатление усилилось, когда в баню вдруг вошла молодая, здоровая женщина. Среди изуродованных голодом ленинградок появилось инородное женское тело – тело-антагонист. По анатомии, эстетическому восприятию и физическим возможностям оно было *другим* – «настоящим», способным к деторождению, которого блокадные женщины были физиологически лишены (детородная функция восстановилась у них в дальнейшем не сразу). «Она была гладкая, – писала Берггольц, – белая, поблескивающая золотыми волосками» [Там же, с. 495]. Золотые волоски выполняют здесь роль некоего маркера, меты, сигнализирующей о репродуктивной силе жизни. «Груды были крепкие, – продолжала Берггольц, – круглые, почти стоячие, с нагло розовыми сосками. Округлый живот, упругие овальные линии, плечи без единой косточки, пушистые волосы, а главное – этот жемчужно-молочный, кустодиевский цвет кожи – нестерпимый на фоне коричневых, синих и пятнистых тел» [Там же]. Появление пышнотелой женщины вызвало глубокий вздох, но вздох этот был равносильен взрыву, который привел в движение всё банное пространство. Худые деформированные фигуры женщин стали в блокадной повседневности нормой, а красота и полнота – отклонением⁸, и ленинградки мгновенно и единодушно консолидировались против появившейся «иноземки». Тишина была прорвана, появилась речь. «Да как она смела такая войти сюда, в это страшное помещение, где были выставлены самые чудовищные унижения и ужасы войны, – как она осмелилась, сволочь, оскорбить всё это своим прекрасным здоровым телом?» [Там же, с. 495–496]. Цитируемый текст является бесспорной манифестацией того, что травма, по определению исследователей *trauma studies*, становится «консолидирующим событием», которое объединяет жертв перенесенных страданий и отделяет их от тех, кто к этой травме отношения не имеет. «Способность признать “общность боли”, – пишет С. Ушакин, – служит

⁸ Отметим специфическое отношение к красивому телу / человеку в военное время, зафиксированное в рассказе ленинградки: «Я <...> перестала воспринимать красоту. Мне казалось, что в ней фальшь, зло...» [Пянкевич, 2017, с. 269].

основой солидарности пострадавших; одновременно “опыт боли” выступает социальным водоразделом, символически изолирующим “переживших” от всех остальных» [Ушакин, 2009, с. 10]. Таким образом, женщины объединились «по праву разделенного страдания» [Берггольц, 2014, с. 237] в некое «сообщество утраты» красоты, здоровья и, главное, женской идентичности.

Блокадницы осознали вошедшую в баню *нормальную* женщину как *другую* (сказался феномен зеркала, т. е. возможность увидеть себя через *другого*). Они «опознали» ее как «чужеземку», живущую по другим законам и правилам, в других условиях; они восприняли ее как врага. В речах ленинградок появились каннибальские коннотации, что свидетельствует о травмированности их сознания. «И страшная, костлявая женщина, – писала Берггольц, – подойдя к ней, легонько хлопнула по ее заду и сказала, шутя: – Эй, красотка, не ходи сюда – съедем» [Там же, с. 496]. *Другой* было отказано в моральных качествах, ее априори обвинили в страшном преступлении («детей, нас обворовывала»), отказали в возможности отвести подозрения («брезговали ею как заразной больной» [Там же]) и, в конечном счете, выгнали из бани («Она вскрикнула, зарыдала, бросила таз и выбежала из помещения» [Там же]).

После того как *большое полноценное* тело было изгнано, в пространстве бани возникло еще одно конфликтное поле. Внимание привлекла к себе маленькая мерзкая старушонка, которая полоскалась в медном тазике, резко выделяясь своим уродством и вызывая отвращение. При описании ее отталкивающего вида Берггольц использовала эмоционально-оценочную зооморфную метафору – *паук*. «Она была, – пишет поэтесса о старушонке, – как бы нарочно придуманная. <...> она была совершенно лысая, очень круглый выпирающий живот ее держался на паучьих ножках, да еще кила висела под животом, – в общем, она была похожа на паука, но отнюдь не на человека, даже не на обезьяну, а именно на паука. Она была живая, явно живая!» [Там же, с. 497]. Теперь источником раздражения стала «откуда-то выползшая» старуха, опознанная женщинами как паук-кровопийца, паразит, выживающий за чужой счет. Архетипический образ паука, несущий в культуре разнообразные негативные коннотации, «вызывает аналогию с ловчей сетью, с ним связывается семантика “смерти”, “гибели” для живых существ» [Мехтиев, Швец, 2019, с. 28]. «Мой помер, молодой, красивый, – говорит одна из женщин, – а такая живет... <...> За что же он погиб? За таких, за таких, за таких...» [Берггольц, 2014, с. 497].

Старуха-паук не включена блокадницами в свой круг («сообщество утрат»), она противопоставлена им: ее уродство вызвало всеобщее отторжение, тогда как аномальность блокадниц, чьи тела были так же изранены, как души, породило тихую «общность боли», взаимную болезненную вежливость. Старушонка была зачислена в бестиарий: она не человек, а тварь, «нарочно придуманный» монстр, не человеческая субстанция: «Всё наше поругание сконцентрировалось в ней, – писала Берггольц. – Она сидела в добром луче солнца, с семицветным сиянием над головой, – она сидела, как сама Смерть, сама Война...» [Там же, с. 498].

Следует отметить, что отрывок «Баня» был обильно процитирован в статье «Ольга Берггольц как читатель и герой Достоевского» [Карпачева, 2017] и соотнесен с сюжетом «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Исследовательница привела текст: «Она сидела в добром луче солнца, с семицветным сиянием над головой», затем некорректно оборвала цитацию (ср. с полной цитатой, приведенной нами в предыдущем абзаце) и сделала следующий вывод: «Как известно, радуга – устойчивый в литературе и вообще в христианской культуре символ Божьего бла-

гословения. Любой человек, как бы война и страдания ни исказили его облик, не перестает быть возлюбленным чадом Божиим» [Карпачева, 2017, с. 224]. Подобная интерпретация кажется нам неубедительной. Берггольц, воспитанная в семье с православными устоями⁹, безусловно, была знакома с христианской символикой радуги. Однако библейские тексты, перерабатываясь в творческом сознании автора, получали новые коннотации в художественном произведении и работали на его главную идею. Метафора радуги, «отчетливой» и в то же время «случайной», не ассоциирует старуху с «возлюбленным чадом Божиим», а скорее отсылает к апокалипсическому тексту, ангелу смерти и судному дню. Данное предположение вполне коррелирует с инвективой, которой разразилась Берггольц в отрывке «Баня»: «О, сын человеческий, сын человеческий! Что ты сделал со своей матерью, сестрой, дочкой, любовницей? Как посмел ты допустить, чтоб стояла она здесь, попранная, не стыдясь поругания самого чистого своего богатства – своего тела» [Берггольц, 2014, с. 495]¹⁰. Таким образом, доминирующая идея отрывка – укор человечеству, безжалостный приговор, осуждение людям, а отнюдь не «благословляющий» старуху-паучиху жест творца.

Укажем также, что другой исследователь в статье о меморизации травмы в творчестве Берггольц усмотрел в предложенной поэтессой символике «Бани» риторичность «советской литературы» [Завьялов, 2012, с. 150–151]. Данная позиция представляется нам излишне критичной. Детализируем свои возражения.

В отрывке «Баня» Берггольц прорвалась к традиционно табуированной в литературе советского периода категории телесности в ее негероической, кастрированной и скорбящей форме; не риторичность, а шокирующее зрелище поэтессы предъявила читателю, вызвав у него психологический дискомфорт. «...истина человеческого бытия, – по утверждению М. Ямпольского, – заключена не в словах и помыслах человека, но в его теле и действиях этого тела» [2004, с. 174]. Если принять во внимание данный тезис, то тела ленинградских женщин, на которых блокада оставила свои следы, – визуальная «биография» потеря, тогда как тело изгнанной ими молодой красавицы бессодержательно, его избыточная телесность в блокадной шкале ценностей неприлична и преступна. При этом излишний пафос, отмеченный Завьяловым в образе уродливой старухи, олицетворяющей войну, несколько не умаляет предпринятой поэтессой проработки блокадной темы в проекции женской телесности¹¹. По нашему мнению, отрывком «Баня» Берггольц вошла в пределы «экзистенциально дискомфортного письма»¹², вызвавшего стойкое неприятие советской цензуры. Можно предположить, что имен-

⁹ Подробнее об это см.: [Прозорова, 2014, с. 41–53].

¹⁰ Предтекстом этой гневной речи стала дневниковая запись Берггольц от 10 июня 1944 г., сделанная после возвращения из больницы. Ср.: «А горя и беды бабьей в связи с войной, – невпроворот, невпролаз, – ужас. <...> Сын человеческий, сын человеческий, что ты сделал со своей женщиной, со своей матерью, любовницей, женой и сестрой? Что ты сделал с лучшим украшением и мелейшей радостью мира – женским телом, женской силой? Не будет тебе ни прощенья, ни радости за всё это. Что сделал – то и получишь!» [Берггольц, 2015а, с. 372].

¹¹ Попутно отметим, что вычитывание «советскости» в текстах Берггольц может приводить к досадным казусам. Так, например, в статье Завьялова упоминается глава из «Дневных звезд», которую исследователь называет «раздел “Слава миру”» [Завьялов, 2012, с. 148], вероятно, по аналогии с советским лозунгом. На самом деле глава названа «Слава мира» по наименованию сорта роз, которые собирался выращивать Ф. Х. Берггольц, отец поэтессы [Берггольц, 2014, с. 470–474].

¹² О понятии см.: [Кукулин, 2005, с. 326].

но цензурными препонами объясняется то, что текст «Бани» был опубликован не в столичном, а в периферийном журнале¹³.

Выводы. Начиная с реалистических образов ленинградских женщин в военной лирике (тетя Даша / Дарья Власьевна), Берггольц усложняет репрезентацию блокадной травмы через религиозную символику («Ленинградская осень»), эстетику молчания («Февральский дневник»), утрату священных традиций («Ленинградская поэма»), переступание эмоционально-нравственного порога («Дневные звезды», глава «Перекур») и обращается к категории телесности в отрывке «Баня». В банном пространстве нагое, незащищенное женское тело приобретает исключительную выразительность и становится знаком, несущим новые смыслы в блокадном нарративе. Скорбящее тело ленинградки-блокадницы представлено как летопись страданий и манифестирует потерю женской идентичности «сообществом утрат».

Список литературы

- Берггольц О.* Дневные звезды. Л.: Сов. писатель, 1959. 164 с.
- Берггольц О. Ф.* Дневные звезды (Главы из 2-й книги) // Простор. 1964. № 6. С. 43–44.
- Берггольц О. Ф.* Собр. соч.: В 3 т. Л.: Худож. лит., 1990. Т. 3: Стихотворения; пьесы; проза: Дневные звезды; статьи и очерки 1954–1975. 527 с.
- Берггольц О. Ф.* Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / [Сост., ст., коммент. Н. Соколовской, А. Рубашкина]. СПб.: Азбука-классика, 2010. 539 с.
- Берггольц О. Ф.* «Не дам забыть...»: Избранное [Сб. / Сост., вступ. ст. и коммент. Н. Прозоровой]. СПб.: Полиграф, 2014. 688 с.
- Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник (1941–1945) / Сост., подгот. текста Н. А. Стрижковой; статьи Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой, коммент. Н. А. Громовой, А. С. Романова. СПб.: Вита Нова, 2015а. 544 с.
- Берггольц О. Ф.* Письма к семье Молчановых (1941–1945 гг.): «Ленинграду отдано мною всё» / Публ. Н. А. Прозоровой // «Верили в Победу свято»: Материалы о Великой Отечественной войне в собраниях Пушкинского Дома. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2015б. С. 8–35.
- Виралайнен М. Н.* Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Амфора, 2003. 503 с.
- Добренко Е.* Блокада реальности: ленинградская тема в соцреализме // Блокадные нарративы: Сб. ст. / Сост., предисл. П. Барсковой, Р. Николози. М.: НЛЮ, 2017. С. 20–46.
- Завьялов С.* Что остается от свидетельства: меморизация травмы в творчестве Ольги Берггольц // Новое литературное обозрение. 2012. № 116. С. 146–157.
- Карпачева Т. С.* Ольга Берггольц как читатель и герой Достоевского // Формирование профессиональной компетентности филолога в политкультурной образовательной среде: Материалы науч.-практ. конф. 24–25 ноября 2017 г. Симферополь: АРИАЛ, 2017. С. 219–227.

¹³ Тот факт, что повествующий о блокаде текст появился не в ленинградском журнале («Звезде» или «Неве», что было бы более естественно и ожидаемо), а в казахстанском журнале «Простор», требует отдельного историко-литературного рассмотрения и в задачу настоящей статьи не входит.

Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. 2005. № 40/41 (2/3). С. 324–336.

Ленинградские «Окна ТАСС», 1941–1945: из собрания Отдела эстампов Российской национальной библиотеки: илл. каталог. СПб.: Изд-во РНБ, 2015. 224 с.

Мехтиев В. Г., Швец Ю. А. Образ-символ паука в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» // Universum: Филология и искусствоведение. 2019. № 4 (61). С. 27–30.

Прозорова Н. А. Ольга Берггольц: Начало (по ранним дневникам). СПб.: Росток, 2014. 288 с.

Пянкевич В. Немцы в представлениях военного времени и памяти блокадников // Блокадные нарративы: Сб. ст. / Сост., предисл. П. Барсковой, Р. Николози. М.: НЛЮ, 2017. С. 253–273.

Ушакин С. «Нам этой болью дышать?»: о травме, памяти и сообществах // Травма: пункты: Сб. ст. / Сост. С. Ушакин, Е. Трубина. М.: НЛЮ, 2009. С. 5–41.

Черепенина Н. Ю. Гендерная статистика блокады // Женщина и война: о роли женщин в обороне Ленинграда: 1941–1945 гг.: Сб. ст. / [Отв. ред. А. Р. Дзенискевич и др.]. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 235–244.

Эштейн М. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. М.: НЛЮ, 2015. 384 с.

Ямпольский М. Язык – тело – случай: [кинематограф и поиски смысла]. М.: НЛЮ, 2004. 369 с.

Яров С. В. Блокадная этика: представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. М.: Центрполиграф, 2013. 603 с.

Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М.: Молодая гвардия, 2018. 313 с.

References

Bergholz O. F. *Blokadnyy dnevnik (1941–1945)* [Siege diary (1941–1945)]. N. A. Strizhkova (Comp., prep. of the text), T. M. Goryaeva, N. A. Strizhkova (Art.), N. A. Gromova, A. S. Romanov (Comm.). St. Petersburg, Vita Nova, 2015, 544 p.

Bergholz O. *Dnevnye zvezdy* [Daytime stars]. Leningrad, Sov. pisatel', 1959, 164 p.

Bergholz O. F. *Dnevnye zvezdy (Glavy iz 2-y knigi)* [Daytime stars (Chapters from the 2nd book)]. *Prostor*. 1964, no. 6, pp. 43–44.

Bergholz O. F. “*Ne dam zabyt'...*”: *Izbrannoe* [“I won't let one forget...”: selected works]. N. Prozorova (Comp., intr. art. and comm.). St. Petersburg, Poligraf, 2014, 688 p.

Bergholz O. F. *Ol'ga. Zapretnyy dnevnik: dnevniki, pis'ma, proza, izbrannye stikhotvoreniya i poemy Ol'gi Bergholz* [Olga. Forbidden diary: diaries, letters, prose, selected poems and poems by Olga Bergholz]. N. Sokolovskaya, A. Rubashkin (Comp., comm.). St. Petersburg, Azbuka-klassika, 2010, 539 p.

Bergholz O. F. *Pis'ma k sem'e Molchanovykh (1941–1945 gg.)*: “Leningradu ot-dano mnoyu vse” [Letters to the Molchanov family (1941–1945): “I gave everything to Leningrad”]. N. A. Prozorova (Publ.). In: “*Verili v Pobedu svyato*”: *Materialy o Velikoy Otechestvennoy voyne v sobraniyakh Pushkinskogo Doma* [“We believed in Victory sacredly”: Materials about the Great Patriotic War in the collections of Pushkin House]. St. Petersburg, Pushkin House Publ., 2015, pp. 8–35.

Bergholz O. F. *Sobr. soch.: V 3 t.* [Collected works: in 3 vols]. Leningrad, Khudozh. lit., 1990, vol. 3: Stikhotvoreniya; p'esy; proza: Dnevnye zvezdy; stat'i i ocherki 1954–1975 [Poems; plays, prose: the Daytime Stars; articles and essays 1954–1975], 527 p.

Cherepenina N. Yu. Gendernaya statistika blokady [Gender statistics of the siege]. In: *Zhenshchina i voyna: o roli zhenshchin v oborone Leningrada: 1941–1945 gg.: Sb. st.* [Woman and war: the role of women in the defense of Leningrad: 1941–1945: Coll. of art.]. A. R. Dzeniskevich ed al. (Eds in Ch.). St. Petersburg, SPbU Publ., 2006, pp. 235–244.

Dobrenko E. Blokada real'nosti: leningradskaya tema v sotsrealizme [Blockade of reality: Leningrad theme in social realism]. In: *Blokadnye narrativy: Sb. st.* [Blockaded narratives: Collected articles]. P. Barskova, R. Nikolozhi (Comp., pref.). Moscow, New Literary Observer, 2017, pp. 20–46.

Epshteyn M. *Ironiya ideala. Paradoksy russkoy literatury* [Irony of the ideal. Paradoxes of Russian literature]. Moscow, New Literary Observer, 2015, 384 p.

Karpacheva T. S. Ol'ga Berggol'ts kak chitatel' i geroy Dostoevskogo [Olga Bergholz as a reader and hero of Dostoevsky]. In: *Formirovanie professional'noy kompetentnosti filologa v politkul'turnoy obrazovatel'noy srede: Materialy nauch.-prakt. konf. 24–25 noyabrya 2017 g.* [Formation of a professional competence of a philologist in a multicultural educational environment: Proc. of sci. and pract. conf. on November 24–25, 2017]. Simferopol, ARIAL, 2017, pp. 219–227.

Kukulin I. Regulirovanie boli (Predvaritel'nye zametki o transformatsii travmaticheskogo opyta Velikoy Otechestvennoy / Vtoroy mirovoy voyny v russkoy literature 1940–1970-kh godov) [Regulation of pain (Preliminary notes on the transformation of the traumatic experience of the great Patriotic war or World war II in Russian literature of the 1940s and 1970s)]. *Neprikosnovenny zapas*. 2005, no. 40/41 (2/3), pp. 324–336.

Leningradskie "Okna TASS", 1941–1945: iz sobraniya Otdela estampov Rossiyskoy natsional'noy biblioteki: ill. katalog [Leningrad "TASS Windows", 1941–1945: from the collection of the Department of prints of the Russian national library: ill. catalog]. St. Petersburg, RNB Publ., 2015, 224 p.

Mekhtiev V. G., Shvets Yu. A. Obraz-simvol pauka v romane V. Nabokova "Priglasenie na kazn'" [The image is the symbol of the spider in the novel by V. Nabokov "Invitation to an execution"]. *Universum: Filologiya i iskusstvovedenie*. 2019, no. 4 (61), pp. 27–30.

Prozorova N. A. *Ol'ga Bergholz: Nachalo (po rannim dnevnikam)* [Olga Bergholz: the beginning (from early diaries)]. St. Petersburg, Rostok, 2014, 288 p.

Pyankevich V. Nemtsy v predstavleniyakh voennogo vremeni i pamyati blokadnikov [The Germans in wartime representations and memory of the blockaders]. In: *Blokadnye narrativy: Sb. st.* [Blockaded narratives: Collected articles]. P. Barskova, R. Nikolozhi (Comp., pref.). Moscow, New Literary Observer, 2017, pp. 253–273.

Ushakin S. "Nam etoy bol'yu dyshat'?: o travme, pamyati i soobshchestvakh ["Should we breathe this pain?": about trauma, memory, and communities]. In: *Travma: punkty: Sb. st.* [Trauma: points: Coll. of art.]. S. Ushakin, E. Trubina (Comps). Moscow, New Literary Observer, 2009, pp. 5–41.

Virolaynen M. N. *Rech' i molchanie: syuzhety i mify russkoy slovesnosti* [Speech and silence: stories and myths of Russian literature]. St. Petersburg, Amfora, 2003, 503 p.

Yampol'skiy M. *Yazyk – telo – sluchay: kinematograf i poiski smysla* [Language-body-case: cinema and the search for meaning]. Moscow, New Literary Observer, 2004, 369 p.

Yarov S. V. *Blokadnaya etika: predstavleniya o morali v Leningrade v 1941–1942 gg.* [Blockade ethics: ideas about morality in Leningrad in 1941–1942]. Moscow, Tsentrpoligraf, 2013, 603 p.

Yarov S. V. *Povsednevnyaya zhizn' blokadnogo Leningrada* [Daily life of besieged Leningrad]. Moscow, Molodaya gvardiya, 2018, 313 p.

Zav'yalov S. *Chto ostaetsya ot svidetel'stva: memorizatsiya travmy v tvorchestve Ol'gi Bergholz* [What remains of the evidence: memorializing trauma in the work of Olga Bergholz]. *New Literary Observer*, 2012, no. 116, pp. 146–157.

Информация об авторе

Наталья Аркадьевна Прозорова, кандидат филологических наук

Information about the author

Natalya A. Prozorova, Candidate of Sciences (Philology)